

"Надежды маленький
оркестрик..."

12+

Ольга Серова

Ольга Серова

Надежды маленький оркестрик...

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64032871

SelfPub; 2021

Аннотация

Мама так часто и ярко рассказывала нам о своем детстве, что оно стало частью и нашей жизни. Я уговорила ее записать эти рассказы, когда ей было уже под 90. Она тогда сражалась с онкологией, и я надеялась, что это как-то поддержит ее. Хотя она и так старалась наполнить свою жизнь смыслом: то начинала учить итальянский, то запоминала пушкинскую «Песнь о Вещем Олеге», то садилась писать отклик на какую-нибудь телепрограмму. Она всю жизнь сокрушалась о несбывшейся мечте стать писателем. Записки получились. Живые картинки времени, согретые сердцем. Живые настолько, что каждый раз, перечитывая их, я снова и снова смеюсь и плачу, люблю и надеюсь, верю и жду. Судьба этого поколения так тесно переплелась с судьбой страны, что трудно отделить одно от другого. Пожелтели старые фотографии, ушли те люди, но вглядываясь в их лица, мы смотримся как в зеркало – и лучше понимаем себя, страну, изменчивое время... Памяти моей мамы, Валиуллиной Розы Хадыевны

Ольга Серова

Надежды маленький оркестрик...

...Сведения о моих предках у меня очень небольшие: дедушку по линии мамы я впервые увидела в 1930 или 1931 году в Саратове, куда мы приехали с мамой, чтобы навестить родных. У них был свой небольшой дом, по-видимому, все они были уроженцы этого города. Семья тогда состояла из 6 человек – бабушка Аниса, дедушка Рамазан, дети Исмаил, Ахтям, Рабига (Рая) и Диля (Лида).

Дедушка и старший сын Исмаил работали грузчиками на мельнице, у бабушки было больное сердце, и она нигде не работала, поэтому мама в школе не училась, а как старшая дочь, вела хозяйство. Остальные учились.

Отец мой, Валиуллин Хады, 1898 года рождения, уроженец Ставропольского уезда Самарской губернии, название деревни не помню. Его родители и родственники были бедными крестьянами и все вымерли в голодные 20е годы.

Отец служил до 1929 или 1930 года, потом был отчислен в связи с пороком сердца и направлен на другую работу. На фотографиях того времени у него в петлицах по три кубика. В настоящее время, кажется, это соответствует званию лейтенанта.

Мама моя, в девичестве Кадырова Маргуба (Мария), родилась в Саратове в 1906 году. Хотя в школу она не ходила, но, выйдя замуж, как поголовно все население, обучалась в Ликбезе, и научилась более-менее сносно писать.

Где и как они познакомились с отцом, я не знаю. Гарнизон, в котором он служил,



верное, часто передислоцировали – из рассказов мамы я запомнила названия городов: Царицын, Сталинград, Астрахань. Позже, уже в моей памяти – Стерлитамак.

Мои первые детские воспоминания именно о времени проживания семьи в Стерлитамаке, хотя, учитывая частые переезды, это могло быть и где-то в другом месте. Помню, я проснулась в своей кровати и увидела стоящего недалеко от меня, против окна, отца, он плакал и что-то делал с небольшим ящичком (как для посылки), который стоял на комод. Это умер мой братишка Вадим, по-видимому, совсем младенец.

Второе воспоминание – большая застекленная лоджия, яркий солнечный свет, мама моет полы, посреди комнаты стоит ведро с водой. Я стою возле ведра, на мне пышное в оборках светло-голубое «в шашечку» платье и туфельки с пуговичками. Я дразню или пугаю маму: «Мама, бух-бух!». Поскользнулась – и села в ведро с водой. Мама говорит, что было мне тогда около 2х лет.

... Там же, но уже чуть постарше, так как помню все очень подробно: квартира была на две семьи, в соседней с нами комнате проживала чета актеров театра. По утрам они у нас брали кипяток для чая (у нас кипел самовар). В это утро папа меня предупредил: “Если они придут за кипятком, скажи, что сегодня мы самовар не кипятили, но ни в коем случае не говори «потому, что у нас сахар кончился».

Я, как обычно, играла в большой и светлой прихожей.

Идет соседка с чайником и спрашивает: «Розочка, самовар уже вскипел?» Я ей подробно объясняю, что самовар сегодня кипятить не будем, «папа не велел говорить, что у нас сахар кончился». Та повела меня в свою комнату, насыпала в мой передник пиленого рафинада и попросила скорее поставить самовар. На мою беду, отец в это время оказался дома, и мне «попало»: поставили в угол.

С отцом у меня связаны самые теплые чувства, он меня очень любил, и все мои воспоминания об играх связаны именно с ним. Придя со службы, он надевал мне на голову свою буденовку, вешал на меня португую и планшет, и мы с ним вдвоем маршировали браво по комнате, громко распевая:



«Мы Красная кавалерия, и про нас
Былинники речистые ведут рассказ
О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные
Мы гордо, мы смело в бой идем...»

Отец мой был удивительной честности и преданности делу Мировой революции. Это шолоховский Макар Нагульнов. Выходец из бедной крестьянской семьи, он свято поверил в идею построения всеобщего коммунистического братства, торжества справедливости на всей Земле. Мне, крохе, он рассказывал, как страдают и гибнут от голода невольники-негры, и мы должны помочь им сбросить оковы, дать свободу, накормить всех. Тогда в ходу была марка МОПР (Международная организация помощи борцам революции), на которой негр разрывает оковы. Продавались значки-брошки с изображением негрятят, резиновые и гуттаперчевые фигурки негрятят – все это символизировало наше братское единение и сочувствие. На одной из первых моих фотографий (“химическим” карандашом на ней помечен 1927 год), я в руке держу такую же черную куклу-голышку. Я стою на стуле в черных валенках, бархатном пальтишке с кружевной пелеринкой и пышным бантом на голове, мне уже год.



Было еще две фотокарточки того же периода —

на одной мне два года, я сижу, свесив ноги, на высоком красивом стульчике, облокотившись на стоящую передо мной декоративную резную тумбу, подперев кулачками щеки. А на другой я на трехколесном велосипеде, в матроске и с большим

бантом (сразу видно, что меня очень любили и старались одевать красиво).

Жили мы на втором этаже, а лестница, очень высокая и крутая, в один марш, выходила прямо во двор. Вот с этой лестницы, как с горки на санках, я решила скатиться на папиных конторских счетах. Не помню, удалось ли мне съехать до конца, и кто меня, орущую, тащил вверх, помню только дикую боль от костяшек (а их там 120 штук – по 10 на каждом из 12 прутьев), ободравших мне кожу на спине и попе.

А в другой раз я втиснула свои ноги в ботинках в мамины гетры – высокие, как сапоги, ботинки на шнурках, а затем «нырнула» до самого пупа в папины сапоги и начала браво маршировать по комнате, чем вначале рассмешила папу с мамой. Наконец папа стал



бираться на дежурство, и ему нужны были сапоги. Но не тут-то было – мои ботинки далеко и прочно втиснулись внутрь этого «пирога» и никак не хотели вытаскиваться. Папа хмурился, пыхтел изо всех сил, но сапоги не поддавались. Тогда мама перехватила меня поперек и прижала к себе, а папа тащил сапоги на себя, я же верещала как поросенок, но не от боли, а от страха, что мне ноги оторвут, да вдобавок, пожалуй, отшлепают, хотя папа меня никогда не бил.

Вытащили с помощью то ли скалки, то ли большой линейки, которую просунули к пятке и толкали мамины гетры изнутри наружу.

И таких «веселых» приключений со мной было еще немало: то голову засунула между дужками венского стула (а он был изготовлен на совесть, и папе пришлось потратить немало сил, чтобы хоть чуточку растянуть их вширь и вызволить мою голову), то зачем-то натолкала в нос зеленого гороха, и одна горошина втиснулась и застряла где-то глубоко у переносицы. Пришлось несколько дней ходить с припухшим носом и гнусавить, пока горошина совсем не разбухла от соплей и потом выскочила, как пробка от шампанского, когда я сильно чихнула,

Ну и много еще подобных приключений, и всегда рядом был папа, много разговаривал со мной и терпеливо воспитывал, отвечал на все мои «зачем» и «почему».

Как-то перед сном раздевал меня, и из кармана моего передничка вывалился позеленевший пятак. «Откуда это у те-

бя?»). Я рассказала, что нашла его в земле, когда мы «пекли куличики» в соседнем дворе у моей подружки. Папа тут же вновь одел меня и приказал сейчас же отнести пяточок к подружке.

На улице уже смеркалось и было безлюдно, я боялась идти одна и заплакала. Папа сделал очень строгое лицо: «И это дочка красного командира? Берет чужие деньги да еще и трусиха, боится?». Мне было и стыдно, и страшно: а вдруг выскочит какая-нибудь собака и покусает! С колотящимся сердцем добежала до соседней калитки, забросила в щелочку злосчастный пятак и бегом обратно. А у нашей калитки стоял мой папа и похвалил «за храбрость», и пока мы поднимались, пока он меня раздевал и купал в корыте, долго внушал мне, что никогда нельзя брать чужое, что говорить надо только правду, не врать, не трусить, быть смелой и отважной и всегда помнить, что я дочка командира Красной Армии.

Выросший в крестьянской семье, он умел делать, казалось, все. Потом, когда я уже подросла, он внушал мне: «Все, что ты видишь вокруг, сделано руками человека. Раз кто-то это делает, значит, и ты сможешь это сделать. Будь любознательной, все примечай и постигай. Когда-нибудь пригодится» (Позже эту заповедь отца я передала братишке Шурику, и он тоже стал «мастером на все руки»).

Еще в Стерлитамаке, до демобилизации, в часть не успели доставить или пошить летнюю форму обмундирования, поэтому всем командирам выдали материал с приказом к 1 мая

явиться в новой форме. В мастерской заказ не принимали, тогда отец распорол старые гимнастерку и галифе, разложил на полу материал и по старым «выкройкам» скроил и сшил новую форму, и на парад пошел уже в ней.

А когда я училась в 4 классе, он научил меня вывязывать пятку шерстяных носок, что не каждая женщина умеет.

После увольнения в запас его, как члена партии, направили на работу в систему Башкоопинсоюза (союз кооперативных артелей инвалидов): нужно было возрождать народные промыслы, в стране не хватало товаров народного потребления и многого другого. Жилось очень бедно и голодно.

Вначале мы оказались в Воскресенске, если я не ошибаюсь. Там отец создал



чарный цех и производство сладостей. Я один раз была с ним и с интересом наблюдала, как лихо крутятся гончарные круги, и из куска глины под руками мастера вдруг являются красивый горшок или кувшин, миска, чашка и т. п. Мне один мастер сделал кукольный чайный сервиз и несколько горшочков. А в цехе кондитерском видела, как на длинном обитом жестью столе раскатывали в тонкий пласт горячее «тесто» из карамелизованного сахара с маком. Он быстро остывал и затвердевал, и из него потом ножом нарезали небольшие квадратики маковых казинаков. Меня, конечно, угостили – «царский подарок» по тем голодным временам! У нашей хозяйки, которая целыми днями пропадала на колхозном поле, грудной ребенок весь день лежал в люльке, облепленный мухами и «лакомился» жеваным ржаным мякишем, завязанным в узелок и засунутым ему в рот, и все время пищал – от слабости и голода, наверное. Я время от времени подходила к нему и запихивала в рот эту «соску».

Там, в 1930 году, у мамы родилась Риточка и умерла в 5-месячном возрасте. Риточка была таким чудным ребенком, беленькая с румяными щечками, пухленькая, глазки большие, как спелая вишня, с мягкими каштановыми волосиками. Как куколка!

К нам ходила тетка Ваза. Носила нам огромные, величиной с большую тарелку, соленые грузди, маслянисто блестящие и ядреные, изумительного вкуса и аромата, и заодно «врачевала»: лечила мои ангины. Она засовывала мне в глот-

ку толстый мокрый палец, обмакнутый в крупную соль и давила на гнойные гланды. После того, как я выплевывала гной пополам с кровью, она давала мне полстакана керосина, чтобы я прополоскала им свое горло... Поликлиник в тех краях, видимо, не водилось.

Расшатавшиеся зубы мне удалял папа, и тоже оригинальным способом: накидывал на качающийся зуб петлю из очень длинной нитки, другой конец привязывал к дверной ручке, мне приказывал стоять смирно, широко открыв рот, резко толкал дверь наружу, и зуб вылетал пулей, я даже ойкнуть не успевала.

Все это «варварство» я стойко и безропотно переносила, ведь я была дочь красного командира (кобура с револьвером и после увольнения оставались при нем: время было тревожное, и ходил он по-прежнему в гимнастерке, галифе и армейской фуражке), а выносливости, стойкости, храбрости он учил меня с самых ранних лет.

Вот эта самая Ваза и принесла к нам инфекцию, у нее болел оспой сын-дурачок. Кто знает, может, и специально, чтобы болезнь от сына перекинулась на другого ребенка, она полезла к Риточке «потютюшкать» (удивляюсь, как могла мама, зная о болезни ее сына, позволить брать ребенка в руки). В итоге – ее сын остался жить, а наша Риточка заболела, все тело и лицо покрылись гнойными пузырями, из глаз сочился гной, она ослепла и через несколько дней умерла. Помню безутешно рыдающего над над ее тельцем отца...

В памяти сохранились многие подробности нашей жизни в Воскресенске, а ведь было мне всего 3-3,5 года.

А вот как перебрались в Петровск, не помню. Помню лишь огромный двор с большими воротами, длинный ряд построек – амбары, склады, конюшни, и жилой дом – одноэтажный на несколько квартир. В крайней, что у ворот, жил завскладом Кузнецов (у него была дочь Вера, примерно моего возраста, с ней мы играли) следующая квартира наша. Помню русскую печь, в ней мама парила сахарную свеклу, потом нарезала ее кусочками и сушила «курагу» – употребляли ее вместо сахара и конфет.

Как-то Вера повела меня на склад к своему отцу, и тот, порывшись в мешках, достал два фланелевых платяца и тут же надел на нас, а в карман насыпал по несколько карамелек, и я радостная побежала показать все это маме. Папа в это время пришел обедать, увидел на мне обновку, строго спросил: «Откуда?» и тут же приказал снять платье, вместе с конфетами отнести Кузнецову, а мне терпеливо разъяснил: эти товары, что на складе у Кузнецова, предназначены тем людям, которые производят товары народного потребления и привозят в наш двор на подводах. Действительно, ежедневно во двор въезжали многочисленные подводы, груженные бочками, деревянными ведрами, бадьями, решетками, коромыслами, пеньковыми мешками и канатами и еще многим, что производилось в созданных отцом кооперативах, а взамен получали товары промышленного производства –

одежду, обувь, мануфактуру, байковые одеяла, а также сахар, конфеты, спички, муку, керосин и др.

«А поскольку мы ничего не производим – нам не положено», – так понимал

РАЙОННАЯ
РАЯ



ведливость мой честный папа и верный большевик (употребляю здесь это выражение как синоним несгибаемой стойкости, честности и бескорыстия, высокого чувства долга). О них сказал Маяковский в стихотворении «Если бы выставить в музее плачущего большевика»: «Гвозди бы делать из этих людей – не было б в мире крепче гвоздей!»

По-видимому, из Петровска мы с мамой, скорее всего летом 1931 года, ездили в Саратов проведать ее родителей. Помню, мама испекла крошечные булочки, по форме как пирожки, затем высушила из них сухари, чтобы везти в Саратов. В Саратове был голод. Запомнилось, как делили хлеб, и каждый член семьи получал свою дневную «пайку». Я свой кусочек положила под подушку на сеновале, но когда решила немного поесть, его там не обнаружила...

«Голод не тетка» – младший брат мамы Ахтям, подросток лет 12, добывал себе пищу охотой на диких голубей: в палисаднике за домом из решета и палочки он сооружал ловушку. Сыпал под решето немного зерна и, лежа в траве, ждал, когда под решетом окажется 2-3 голубя, дергал ниточку, привязанную к палочке, та падала, и решето накрывало добычу. Тут же была и печурка из 2х кирпичей и небольшая кастрюлька, в которой он варил себе суп из голубей...

Еще один эпизод запомнился, по-видимому, из-за необычности увиденного. С мамой ходили проведать родственницу, спускались к какому-то оврагу за пределами городских улиц. Овраг был крутой и широкий, и из почти от-

весной стены его торчало несколько домиков «на куриных ножках», опирающихся фасадами на бревна свай, и забираться в дом нужно было по довольно крутой и высокой лестнице.

Помню себя сидящую на стуле у входной двери, а у противоположной стены на стуле таз с незнакомыми мне ярко-малиновыми плодами. Мама мне потом сказала, что это сливы, по-видимому, на продажу.

Там же в Саратове запомнилось купание в «лягушатнике» на Волге: довольно широкий дощатый настил на поверхности воды, тянущийся вдоль берега в обе стороны, и в этом полу, или, лучше, «палубе» – ряд неглубоких «бассейнов» с дощатыми стенками и деревянными полами, для детей разного возраста.

На обратном пути мы обогнали важно шествующую стайку гусей, гусыне не понравился мой ярко-красный в белый горошек сарафан, и она со злобным шипением стала преследовать меня. Спасались в чужом палисаднике с бледно-розовыми мальвами.

Но самое яркое и драматическое событие – это возвращение из Саратова домой. Ехали в товарном вагоне, сидя прямо на полу. Народу было много, видимо, все искали «лучшей доли» неведомо где – колеса бешено стучали по рельсам, с грохотом проносились другие, чаще тоже товарные, поезда, гудки паровозов издавали страшный рев, в широко распакнутые двери врывались тугие струи колючего ветра, больно

хлеставшего по лицу, песчинки и мелкая угольная пыль лезли в глаза, нос, рот. Мне было ужасно страшно, и я сидела тесно прижавшись к маме.

Но на одной остановке мама с чайником пошла за кипятком, поезд тронулся, и я с диким воплем кинулась к дверям, чтобы выпрыгнуть на ходу – к маме. Меня подхватили чьи-то крепкие руки, я билась и вырывалась, и истошно кричала...

Мама вернулась на следующей остановке (она не добежала до нашего вагона, но успела залезть в другой вагон).

Дальше идут воспоминания об Иглино, куда, видимо, в очередной раз перевели по работе отца.

Я болела, лежала с высокой температурой, очнулась от какого-то шума и увидела стоящую посреди комнаты маму и загораживающую ее с раскинутыми руками тетю Аню – жену старшего брата мамы, кричащую: «Ну, стреляй!», а напротив них в 2-3х шагах отец с наганом в руке. Чем все кончилось, я не помню, у меня была горячка, на меня все время надвигался то потолок, то огромный ночной горшок.

Шел 1934 год, уже появился Шурик (19.01.1933г). В сентябре в школу меня не приняли, так как мне не было еще 8 лет. Но в ноябре, когда я достигла необходимого возраста, меня все же приняли.

Помню первый день в школе: мне выдали тетрадку в косую линейку, первую



ничку которой разделили на 4 прямоугольника. В одной «клетке» мы писали палочки, другая – по арифметике, а в правом нижнем квадрате я нарисовала купающихся в реке детей.

В классе вывешивали таблицу успеваемости. На большом листе бумаги были нарисованы плетущиеся пешком неуспевающие, троечники – верхом на черепахе, хорошисты – на велосипеде, и отличники – летящими на самолете. Я училась успешно и все время «летала» на самолете.

Была очень большая нужда в тетрадях, за вырванный из тетради листочек вызывали в учительскую. Учили быть бережливыми и ценить, уважать труд других; рассказывали, трудом какого большого количества рабочих создавались карандаши, тетради, книги. На уроках труда мы приводили в порядок потрепанные книжки из библиотеки: старательно сшивали их, клеили порванные листочки.

Сколько времени мы жили в Иглино, я сказать не могу. В памяти сохранились и летние игры: сидение в бочке с дождевой водой, в зарослях картофеля на огороде, поиски синих ягод паслена (тоже лакомство), зеленых стручков гороха; и зимние – катание на чужих санках в яркую лунную ночь по безлюдной улице

Переезд в Белебей тоже не помню. Помню, шел урок (я во втором классе), вдруг открывается дверь и какой-то мальчишка крикнул: «Роза, твой отец мать застрелил!»

В это время они уже были в разво-

де. Отец меня зареванную увез на далекую

Видъ г. Белебея.



ничную улицу. Папа мне объяснил, что маме с двумя детьми и дедушкой (когда он приехал, я тоже не помню) будет очень трудно, поэтому я буду жить с ним, а учебу продолжу в этой же школе, всего через 4 дома от маминой квартиры, и после уроков я буду приходить к ним поиграть с Шуриком. Я же росла послушным, все понимающим, но все же тяжело страдающим ребенком.

Они встретились около бассейна, где мама набирала воду, отец был немного выпившим, и мама с укором сказала ему: «Что же ты в рабочее время пьешь». Отец толкнул ее, она упала, он сел верхом ей на спину и выстрелил. Пуля застряла под кожей на шее, второй выстрел – осечка, тут его скрутили выскочившие из пожарной части пожарники, а маму увезли в больницу.

Отца посадили, он какое-то время сидел в колонии, мы с мамой ходили к нему, мама подала прошение о помиловании, и его скоро отпустили и направили на курсы в Уфу. Я вновь вернулась к маме.

Мама работала в театре билетершей, а дедушка там же сторожем. Вначале им дали



нату на 2м этаже в глубине фойе, но потом поселили в небольшом домике тут же в театральном садике. Кроме нас с мамой проживали бабушка с Лидой (на 3 года старше меня) и маленькая Соня, которой было месяцев 9-10. Дедушка запомнился очень добрым и кротким человеком, очень любил детей и постоянно заботился обо всех.

Сохранившаяся фотография – мама, я и Шурик – это фото именно этого периода жизни в Белебее, здесь мне девять с половиной, а Шурику три с половиной года.

Осенью этого же года вернулся с курсов отец, и мне вновь предстояло расставание. Но я же была «умной, послушной девочкой», как все время внушал отец, и должна была понимать, что раз я была папиной, то вновь должна вернуться к нему, «таков порядок», иначе «маму посадят в тюрьму».

Покорившись своей печальной участи, я полдороги тихо плакала, уткнувшись носом в колени. Ехали поездом очень долго, как мне показалось. Отец был расстроен, старался всячески успокоить и развлечь меня, на каждой станции бегал за разными покупками для меня, и мне стало жалко его. На одной станции купил «Черногорские сказки», обильно снабженные страшного вида и страшной расцветки рисунками – ядовито-зеленые с черным уродливые ели, ядовито-синие и черные острые пики гор, размахивающий на каждой странице кривой шашкой главный герой сказок – все производило отталкивающее впечатление.

Добравшись до нового места работы отца в Караидели

(это предгорье Урала), мы поселились в угловом доме на самом берегу речки Уфимки. Эта сторона считалась деревней, а райцентр – на противоположном берегу, там же и школа. Берега соединял паром.

Уфимка – довольно широкая река с хрустально-прозрачной и очень холодной водой, изобилующей рыбой. Вода была так прозрачна, что видны были каждый камешек и каждая рыбешка.

Отец часто бывал в разъездах – создавал новые артели, и я вроде оставалась под присмотром хозяйки тети Веры, но на самом деле была предоставлена сама себе. У тети Веры был грудной ребенок, и ей было не до меня.

Здесь я пристрастилась к чтению. Книгами снабжала сестра моей подружки-одноклассницы, работавшая в школьной библиотеке. Получив что-то новое, она быстро вручала мне интересную книгу и строго наказывала вернуть ее утром. Библиотека хорошо пополнялась художественной литературой.

Вечером хозяйка со своим младенцем забиралась на полати («антресоли», второй навесной деревянный потолок, там всегда тепло), а я газетами огораживала керосиновую лампу и засунув туда голову, читала почти всю ночь до одури – буквально. Читаю «Робинзона Крузо», вдруг кошка спрыгнула с русской печи на пол, что-то там загремело, я недоуменно озираюсь и никак не могу понять – откуда же взялась кошка, ведь у нас на острове ее не было!

С выбором мне здорово повезло, библиотеку снабжали очень хорошей, «правильной» литературой – русская и иностранная классика, качественная современная литература, пристрастившись к которой, позже я уже не воспринимала «чтиво».

Летом мы со сверстниками целыми днями пропадали на реке, купались, ныряли, грелись на песке, рыбачили: ловили мелких рыбешек, серебристых баклешек, и чуть крупнее, со средний палец – пескарей для кошек. Нанизывали на кулан (веревочку с поперечной палочкой на конце) и потом сравнивали – у кого больше улов.

Однажды отец обратил внимание на то, что я все время чесываю голову, подозвал меня и заглянул в гущу волос, там бегали вши. Отец всполошился, попросил хозяйку протопить баню, развел крутой щелок, промыл тщательно, а потом сбрил наголо все волосы и строго запретил купаться в реке.

Но как же мне не купаться, если все мои друзья по-прежнему днями барахтались в реке! Выжидала, когда папа уплывал на пароме, и бегом на речку, а к концу работы мои друзья оглядывали каждый «рейс» парома, чтобы предупредить меня о возвращении отца.

Дружной ватагой мы ходили в ближайший лесок, мрачноватый, изобилующий хвойными породами, по ложбинкам собирали малину. Я очень скучала по Шурику и решила собранную малину не есть, а засушить и послать посылку. И

насушила довольно приличный мешочек, но когда надумала соорудить посылку, обнаружилось, что малина моя исчезла (к папе ходила одна башкирка, часто оставалась у нас ночевать, и я почему-то была уверена, что это она съела мои ягоды. Возможно, я ревновала отца и поэтому мое отношение к ней было недружественным).

Поплакала, конечно, от обиды, но никаких сцен и истерик не закатывала, переживала «про себя».

В Караидели я с похвальной грамотой окончила 3й класс и начала учебу в 4м классе, но возникла необходимость переехать в Абдулино, к месту работы отца. Там русской школы не было, и меня отец устроил в Магинском районе, сняв угол в комнате у Шобуховых, дети которых тоже учились в этой школе: Мишка в одном классе со мной, а старшая Таня – в 6 классе.

Брать меня «на стол» хозяйка не пожелала, договорились на пол литра молока в день. Хлеб (ржаной) я покупала в лавке, но то ли мука тогда была некачественная, то ли пекарь «не тот», но хлеб в свежем виде есть было невозможно: на 2-3 пальца спекшийся слой, подобный глине, откусив который, невозможно было разжать зубы, так крепко он «держал» их. Поэтому он подолгу валялся на подоконнике, пока не рассохнется. Тогда я отламывала небольшие кусочки и отправляла в рот «размокать».

Никакой горячей пищи не было. Хозяйка каждый день парила в печи трехведерный чугунок картошки для свиней, поче-

му бы ежедневно не давать мне 2-3 картофелины за соответствующую плату? Не знаю. По-видимому, нравы того времени были суровы.

В закутке за печкой, завешанной занавеской, тихо и неприметно ютилась свекровь хозяйки, ее никогда не звали к столу, чем она питалась, не знаю. Правда, раз застала ее отливающей молоко из моей бутылки, по-видимому, ей тоже хотелось поесть.

Странно, но я не помню, чтобы испытывала страдание и чувство обездоленности, все воспринималось как должное (или данность). Наверное, сказывалось папино воспитание.

Я к тому времени уже подросла, но все еще донашивала пальтишко, которое уже было тесно мне в плечах, и рукава были уже коротки. Чтобы приодеть меня, отец где-то раздобыл 5 метров белой бумазейки и отдал пошить своей знакомой башкирке, но та так экономно покроила, что что я еле втиснулась в платье. Глухой стоячий воротник давил шею как удавка, а длинные, до колен, панталоны были так узки, что держались на мне без резинки. Вместо обычных чулок – башкирские из белой же шерсти тонкие самодельные “чулки” до колен, и лапти – весной, осенью и зимой (летом – босиком). На голове у меня была шапка-«чулок», тоже белая, так что со стороны видик у меня был жалкий, но, повторюсь, меня это не волновало. Училась я на пятерки, меня хорошо принимали, поскольку, как я помню, мы дружно и весело играли, бегали в лес, зимой катались на санках и бе-

гали на коньках по замерзшему пруду. Я бегала так быстро, что меня мальчишки обогнать не могли, и это тоже, видимо, вызывало уважение.

И все же, по-видимому, не хватало домашнего тепла. До деревни, где жил отец, было не близко – нужно было, пройдя 2-3 километра, перевалить через три больших холма, поросших лесом, и я, надев коньки, после школы бежала в Абдулино. Добиралась уже затемно, в окнах светились лампы. Отец обычно работал допоздна, встречала «хозяйка» – не знаю, была ли она женой или просто временной сожительницей. Вскоре приходил отец и садился ужинать – был и пшеничный хлеб, и какое-то варево, чай с сахаром и даже медом, сливочное масло. Но утром рано отец уходил на работу, и мне на завтрак был только пустой черный чай и ржаной хлеб: «Вчера все съели». Я уходила в Могинск, твердо решив в следующую субботу не приходить. Но за неделю обида испарялась, и я снова шла «к теплу».

На майский праздник мы с отцом пошли на митинг к сельсовету, башкирка эта тоже пошла (одета по тем временам она была совершенно необычно – в брюках и телогрейке, она вроде бы служила в пожарной охране).

Мы с отцом вернулись раньше нее, она заявила поздно вечером – сильно пьяная и на недовольную реакцию отца в ответ схватила большой кухонный нож и стала дебоширить. На шум заглянул из соседней комнаты хозяин и вместе с отцом ее быстро скрутили и выставили на улицу, а дверь из-

нутри «забаррикадировали». Пошумев какое-то время, она удалилась, больше я ее не видела.

На летние каникулы я перебралась к отцу, он снял квартиру у русской бабушки, и я с ней быстро подружилась, бабка была замечательная! И жизнь – прекрасной!

Здесь прервусь и вернусь несколько назад, в Могинск. Как я упоминала выше, я очень скучала по Шурику и написала маме, чтобы та привезла его летом ко мне, хотя сама и не верила в осуществление просьбы, так все было далеко-далеко...

Мама изредка писала мне, а однажды в письмо вложила 1 рубль. Деньги папа мне давал регулярно, когда попутно заезжал по пути в Караидель, где был то ли банк, то ли вышестоящая контора «Башкоопинсоюза», но я их почти не тратила, так как покупала только хлеб. Я жалела отца, помнила, каким он был всегда подтянутым, в военной форме, как выглядел, когда мы жили вместе с мамой, и теперь – жалкое поношенное одеяние: рубашка-косоворотка, вышитая синими васильками (по воротнику), вся выцвела, в дырках, как горохом побитая; на ногах старые валенки, поверх которых – те же лапти.

Еще я знала, что он высылает алименты на Шурика, часто ездит в командировки, а это тоже расходы, поэтому «зря» не тратилась. Как-то летом в сельпо привезли «баретки» – тапочки, сшитые из черных и белых кусочков кожи (скорее всего, что-то вроде дермантина), по 12 рублей, и мои по-

дружки прибежали за мной, потащили в магазин. Долго стояла я у прилавка, зажав в кулаке эти 12 рублей, пока не разобрали все, но так и не купила и пробегала все лето босиком.

Но неожиданно, ближе к осени, мама прислала посылку, и все соседи сбежались поглядеть, ахали и дивились «как же такая богатая не заберет дочку к себе». А «богатство» по тем временам все же было солидным, ведь в магазинчиках ничего этого не было: синяя сатиновая пионерская форма – юбка и кофта, трикотажный джемпер с юбкой, детские туфельки, калоши и ситцевый платочек.

Аханья эти меня очень разбередили, и эти добротные вещи как бы напомнили, что есть другая, более радостная жизнь, я опять стала писать маме слезные письма и умоляла привезти Шурика, что я по нему сильно скучаю...

Продолжу – о летних каникулах в Абдулино у русской бабки. Я, лежа на сеновале, читала какую-то книжку, и тут меня бабушка позвала вниз, чтобы сообщить новость: отец твой женился на молодой вдовушке-башкирке и едет на телеге, чтобы забрать меня и наши пожитки.

Новость эта меня прямо-таки «огорошила» и раздосадовала – ведь так хорошо было у бабки, а тут опять к какой-то башкирке! И я залезла обратно на сеновал с твердым намерением: останусь жить у бабушки, пусть один едет к своей башкирке... Упрямство и такой решительный протест был неожиданным для отца и очень озадачил его, он был расстроен и терпеливо начал объяснять мне, что ему трудно жить

одному, по чужим углам, да и мне будет лучше, у нее – своя баня, огород, пчелы и прочие блага. Я продолжала упираться, он не выдержал, стащил меня с сеновала, и плачущую, посадил на телегу.

К счастью, все было совсем неплохо, башкирка эта оказалась доброй, веселой и общительной, и мы с ней как-то «сошлись», хотя она не умела говорить по-русски, а я не знала башкирского, но, видимо, как-то понимали друг друга.

Как-то ярким солнечным днем (отец был на работе) она нарядила меня в свои национальные наряды, на голову надела колпак, расшитый монетками (и на затылке болтались несколько ленточек- монисто), нарядный фартук, и стала наигрывать на кобuze и учить меня башкирским танцам. Вдруг влетает запыхавшийся Мишка Шобухов: «Роза, мама твоя приехала!» Это было как гром среди ясного неба...

Всю дорогу до Могинска я бежала так, что Мишка не поспевал за мной. Это была такая радость для меня, что не могу подобрать слов, чтобы описать...

Уж не помню, в этот же день или на следующее утро мы пошли в Абдулино, к папе. Для меня все это казалось каким-то чудом, мама и Шурик так резко отличались от окружающих меня до сих пор людей – и обликом, и опрятной, «красивой», то есть непривычного вида одеждой, мама была так красива, а Шурик – в коротких штанишках, с тибетейкой на голове – просто чудо как хорош!

Что чувствовали при этой встрече родители, мне трудно

судить, но в моей душе боролись два противоречивых чувства – радостное ликование и щемящая сердце тоска: мне ни за что не хотелось расставаться с мечтой о другой, счастливой жизни с мамой и Шуриком, но тогда нужно было уезжать от отца, который так любил меня...

Расставание было тяжелым. Отец умолял меня не уезжать, не оставлять его одного и горестно плакал, может и сожалел о разводе. Спросил маму: «Что ты думаешь делать?» На что мама холодно ответила: «Я ничего не думаю, а если насчет Розы: если хочет, пусть едет, а нет – так пусть остается». Помню, меня это сильно задело и добавило тоски в сердце, но и упрямой решимости ехать тоже, хотя где-то в глубине души я понимала предательский характер своего поступка.

Наутро отец объявил, что ему нужно в Караидель и он довезет нас до Могинска, собрал все мои вещи, поснимал со стены все мои почетные грамоты, гитару, фотографии (забирай все, чтобы ничего не напоминало о тебе!), и мы поехали на длинных дрожках – отец и его жена башкирка впереди, а мы втроем со своими вещичками, сзади.

Перед самым крыльцом дома Шобуховых он остановил повозку, слегка повернув голову, убедился, что мы выгрузились, хлестнул лошадь и крикнул: «Нет у меня дочери, будь ты проклята!» и уехал.

Все это на меня произвело такое тяжелое впечатление, что я заболела и совершенно не помню, как, на чем и сколько мы добирались до Узбекистана (мама в 1937 году перебра-

лась туда к сестре Рае, которая была замужем за Салаевым Садыком).

Ох, забыла, по пути мы заезжали в Белебей, но все это как-то не запомнилось. Помню только, что сразу же пришло письмо от папы, который просил у меня прощения, что это он выкрикнул сгоряча, что у него никого кроме меня нет, и просил вернуться («Ты уже повидалась со всеми, потом они могут снова приезжать к нам!»)

Мама, оказывается, уже была замужем. Салих был моложе ее на несколько лет, очень заботливый, хороший во всех отношениях. Сразу же поехал в Хиву и закупил для меня много всякой одежды, обуви.

Это был 1939 год, его призвали на действительную службу в армию. Уезжая, он оставил нам огромное количество разных припасов (бочку масла, муку, рис и другие продукты, даже дрова, керосин и пр.), но посоветовал маме списаться с родственниками в Саратове и ехать к ним, так как, наверное, война будет. Родственники вежливо отклонили просьбу мамы (здесь плохо, сами с трудом перебиваемся). В 6-й класс я пошла в Ургенче.



Ургенч 1939 года был небольшим городишкой в 6-7 коротких улиц, дома глинобитные и каркасные (преимущественно), толщина стен которых не превышала 15-17 см. Как правило, без отопления, так как топлива там не было – вокруг пустыня, пески. Каменный уголь уже после войны стали подвозить из Сибири. Улицы немощеные, ноги утопали в толстом слое мягкой пыли. Местные жители обычно в айване (крытая холодная веранда) делали небольшое углубление, где тлел кизяк. Сверху ставился низенький стол, который накрывался большим стеганым одеялом, сиделись всей

семьей вокруг этого стола, засунув под стол ноги, и грелись, здесь же и пищу принимали, и просто отдыхали.

Русские жители обзаводились керосинками, примусами, сооружали печурки-плиты, но когда нет дров, одним кипятком комнату не нагреешь, хотя бы пищу приготовить.

В холод зимой стены насквозь промерзали и покрывались инеем, а вода в ведрах замерзала. Дома в целях экономии стройматериалов тесно лепили один к другому, по плоским крышам можно было пробежать от одного конца улицы до другого.

В самом Хорезме – это истинный оазис в пустыне – было развито садоводство, на рынке изобилие винограда, инжира, дынь. Но основная культура – хлопок.

В Ургенче я закончила 8й класс и пошла в 7й, но к осени 1940 года мама решила переселиться на станцию Урсатьевская (поселок Хаваст), уехала, оставив меня у тетки до зимних каникул.

С отцом переписывались, его вновь перевели на станцию Иглино, там у них с башкиркой родилась дочь Софья, но рано умерла. Он по-прежнему звал меня к себе, просил не ревновать ни к жене, ни к Софье, уверял, что у него я одна. Но как я могла поехать, жили -перебивались кое-как, дело шло к войне.

В декабре я поехала «вдогонку» к маме. Железной дороги там еще не было, сообщение только авиа. Погода стояла нелетная, пуржило, и я 15 дней просидела на «аэровокза-

ле» (громко сказано) вместе с группой бухгалтеров, которые ехали с отчетом в Ташкент. Были там две женщины, которые меня опекали. На голове у меня вместо платка или шапки было полотенце. Дверь плотно не закрывалась, было очень холодно...

Самолетом – до Чарджоу, а там нужно было садиться на поезд. Среди бухгалтеров оказался один, у которого, как выяснилось, дочка училась в параллельном со мной классе. Он заботливо проводил меня до станции, купил билет, булочку и молоко и упросил дежурного по вокзалу впустить меня в дежурную комнату, и мне строго наказали никуда ни с кем не ходить (мне в жизни часто везло на хороших людей). Утром я села на поезд и поехала на станцию Урсатьевская, прибыла ночью, вокзал пустой, в зале ожидания я сидела одна, так как никто меня не встречал. Сидела долго, но под утро пришли мама с подругой Гулсум-апа, это она уговорила маму на всякий случай посмотреть: может, приехала. Ведь я 15 дней сидела в аэропорту в Ургенче, а телеграмму дать не догадалась, наверное, тетка тоже не побеспокоилась: она и не знала, когда я улетела.

В Урсатьевской школа относилась к железной дороге, поэтому, наверное, была с физико-математическим уклоном. Учеба мне давалась легко, а большинству в классе физика «не давалась». Сан Саныч, учитель по физике, очень похожий на Дарвина, выставив 5-6 двоек, вызывал меня к доске, чтобы я «дала по мозгам этим лодырям», стыдил мальчишек,

что девчонка им «нос утерла».

Когда мама, не найдя работу, уехала с подругой в Чимкент, а меня оставила до конца учебы у моей школьной подружки, Сан Саныч несколько раз уговаривал меня, чтобы я согласилась на удочерение, говоря: «У тебя светлая голова, я тебя в Москву после школы пошлю – в институт». Своих детей у них не было, и они уже воспитывали другую девочку.

Закончив 7 классов в Урсатьевской, я поездом поехала в Чимкент.

Началась война, жить становилось все труднее и труднее. Осень была очень дождливой, и у нас в квартире отвалился кусок потолка. С жильем устроиться в то время в Чимкенте было очень трудно, мама подыскала «комнату» (фактически, сарай) с намерением подремонтировать и благоустроить. Но началась массовая «мобилизация» на сбор хлопка (мама работала охранником в Доме Культуры, и ее направили «до праздника 7 ноября», но продержали до января. Вернее, она оттуда сбежала, и ее потом долго таскали в прокуратуру.)

Мы с Шуриком остались одни, без запасов еды, без топлива, в этом сарае. Собирали лошадиные и ослиные «яблоки» для кизяка, на кладбище рыли какие-то торчащие из земли коренья. Там меня укусило в ногу какое-то ползучее насекомое, натертая на руке мозоль прорвалась, туда попала инфекция от кизяка, раздуло правую руку и левую ногу, я не могла ходить в школу, по ночам все ныло, да и Шурик тол-

кался – спали из-за холода вместе, накидав на себя все, что было. Есть было нечего, ходила в какой-то кишлак выменять на что-нибудь соль – дали одну небольшую свеклу...

Не буду описывать все, что пришлось нам испытать в тот период (1941-43 годы), сколько страхов пережить (бандитизм, разбой, грабежи, стрельба по ночам). По совету мужа соседки, который был старьевщиком Вторсырья и разъезжал по кишлакам, мама решила перебраться в дальний кожсовхоз. Но там стало еще хуже: в городе мы хоть карточки имели – 400 грамм хлеба на иждивенца и 600 грамм – рабочим, в совхозе же давали в месяц 4 кг жмыха хлопкового (прозеленевшего, с плесенью) и 3 кг необработанного ячменя. Смоллов это в муку, мама испекла лепешек, но нас от них так рвало, что мы больше их не ели.

Я вместо мамы работала в подсобной бригаде на прополке овощей. Приходилось по щиколотку в воде или грязи (часто шли дожди) целыми днями прореживать и полоть свеклу, капусту. Украдкой часть росточков приносила домой, мама варила «суп». Мама выменивала остатки одежды, какие-то занавески, полотенца, наволочки. Но давали очень мало, и мы постоянно чувствовали голод.

В 1943 году, летом, к нам заехал муж тетки Раи, Садык. Он сопровождал мобилизованных в рабочий батальон куда-то в Сибирь, и предупредил, чтобы мы подготовились к отъезду в Ургенч: ему повестка на фронт, нужно было передать должность экспедитора жене, а мама будет вести хозяй-

ство и смотреть за детьми.

Опускаю подробности: до Ургенча добирались где пешком, где на каких-то редких тогда машинах, 15 дней голодного сидения в Чарджоу – чтобы получить билет на какую-то баржу, и еще 15 дней – чтобы это корыто дотащило нас до пристани Чалыш. Первое, что увидел Шурик: продавали дучу – зеленые плоды урюка, мама купила ему пригоршню, он жадно набросился на еду, после чего у него случилась дизентерия.

Тетка стала работать экспедитором Хазараспского райпо, дом с большим айваном стал перевалочной базой. Постоянно прибывали товары, которые нужно было сгружать, перетаскивать в сарай (ящики, тюки, бочки), и мама превратилась в грузчика. У тетки было две коровы, маленькие дети – все это тоже на маме, в том числе и приготовление пищи.

У тетки был сварливый характер, каждый раз во время еды она затевала скандал. К тому же, выбрав у мамы все деньги, какие были («чтобы уплатить за машину» и т.д.), она стала упрекать, что мы трое сидим у нее на шее.

Не выдержав, мама нашла квартиру рядом, и мы от нее ушли. Я устроилась секретарем в Облсуд на 360 рублей, мама – охранником в бюро пропусков Обкома партии. Чтобы не терять много времени, я записалась сразу в 10 класс вечерней школы, хотя у меня 8й класс был «пунктирный», а в 9м – только первая четверть, и то неполная. Но учеба мне давалась легко, и я везде была первой. Правда, школу я закон-

чила лишь с третьего «захода». Зимы в те годы были необычайно холодные, одежды никакой – у нас с мамой на двоих одно демисезонное пальто без подкладки (расползлась от ветхости), на ногах резиновые галоши третий номер. Они были на каблуках, поэтому, во-первых, очень жали, а во-вторых, нужно было ходить «на цыпочках», чтобы каблук не лопнул на 40-градусном морозе. Это было настоящей пыткой, и к январю я не выдерживала и бросала учебу.



В школе нам «для моральной поддержки» выдавали крохотные булочки грамм по 20. Что это для нас значило, поймет только тот, кто длительно голодал. Я половинку по крохотной щепотке смаковала на уроках, а вторую половинку несла Шурику.

Ужасно тяжело вспоминать те годы: постоянное чувство голода, лютый холод на улице, на работе, дома, ночные «дежурства» в очередях за хлебом, тревожные сообщения Совинформбюро о положении на фронтах...

Отца в ноябре 1941 года призвали в армию, он писал нам, что как нестроевой, определен в обоз – подвозить к передовой снаряды в боях под Ржевом. Там события развивались крайне драматически, город неоднократно переходил из рук в руки, потери были огромные. Последнее письмо получили в феврале 1942 года. На наши неоднократные запросы о его судьбе получали ответ: «В списках убитых и пропавших без вести не значится...»